

MONSIEUR ILYA

Хирург боярских кровей

IV



Monsieur Пуа

**Хирург боярских кровей.
Гладкий венец. Том 4**

«Автор»

2026

Пуа М.

Хирург боярских кровей. Гладкий венец. Том 4 / М. Пуа —
«Автор», 2026

Я стал сильнее, чем мечтал бездарь, – и пустее, чем боялся. Под рёбрами у меня двое чужих, и оба боятся одного: того, кто ждёт меня у последней заставы. Он не называет себя – ему не нужно имя, чтобы отдавать приказы. Ему нужна не земля. Ему нужен я – ключ к тому, что спит подо льдом на краю мира. «Приходи и отопри сам, – сказал он. – Мы умеем ждать дольше, чем ты умеешь жить». И я иду на север. Везу врагу в собственной крови отмычку от последнего тепла умирающего мира. Только замки, господа хорошие, иной раз ломаются в руке. И ключи – тоже.

© Пуа М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1 Без якоря	6
Глава 2 Долг Кривой	13
Глава 3 Маяк	20
Гл	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Хирург боярских кровей. Гладкий венец. Том 4

Глава

Название: Хирург боярских кровей. Гладкий венец. Том 4

Автор(-ы): Monsieur Пуга

Глава 1 Без якоря

Глеб пробыл в столице ещё девять дней после того, как схоронил Демьяна. Не потому, что не мог уехать раньше. Потому, что уехать значило признать окончательно, что уезжать теперь не с кем.

Девять дней он прожил в чужом углу, что дал ему Северцев, среди чужих людей, которым велено было не спрашивать, и за эти девять дней притерпелся к новой своей тяжести так, как тело притерпливается к вынутаю зубу: языком всё тянет и тянет в пустую лунку, зная, что там больно, и не может не тянуть. Тяжести было две. Одна снаружи, одна внутри, и обе он таскал молча.

Снаружи была Гора.

Он не знал ещё толком, что она такое. Знал только, что стал другим. Зерно, что двенадцать лет росло в нём по крохе, от потрясения к потрясению, в ту ночь у часовни расколосось и переросло само себя, и теперь под грудиной сидела сила, какой прежде не бывало, – тяжёлая, холодная, и такая спокойная, какими бывают только камень да мороз. Он пробовал её осторожно, как пробуют новый инструмент: тянул наружу тонкой нитью – и нить выходила плотнее, злее, чем у Скалы, слушалась вернее. Городские одарённые, что попадались навстречу, теперь чуяли его издали и уступали дорогу, сами не понимая отчего; лавочник давал сдачу дрожащей рукой; собака на чужом дворе поджимала хвост. Он был Гора. В столице таких по пальцам, и не всякий Великий Дом держал при себе Гору. А он держал её в теле восемнадцати лет, за которое заплатил единственным другом, и радости в том не было ни на грош.

Вторая тяжесть была внутри, и она была хуже.

С той ночи, как оборвался под пальцами Демьянов пульс, в нём стало шумно. Всю жизнь – обе жизни – у него внутри было тихо: один хозяин, один голос, свой. Потом пришёл огневик, потом холодный, и он выучился держать их, задвигать за перегородку, глушить угрозой, торгом, волей. Держал, потому что было чем. Была живая тёплая спина за плечом, старый солдат, что поклялся отгонять от хозяина нечисть и одним своим присутствием, самым тем, что был рядом, отгонял. Спины не стало. И перегородка, что и так истончалась от каждой бессонной ночи, теперь протёрлась совсем.

Голоса больше не ждали, когда он ослабнет. Они говорили постоянно. Тихо, вкрадчиво, изнутри, двумя разными голосами на два разных лада. Огневик скулил и подначивал – жаром в ладонях, привкусом чужого табака, мелкой трусливой злостью: сожги, ударь, чего терпишь, тебе теперь всё можно, ты Гора. Холодный не скулил. Холодный считал, трезво и по делу, тем стылым цеховым тоном мастера по живому телу. Этого убрать бы – вот сюда, под ухо, и не крикнет. Того придержать за жилу. А этот и сам не жилец, возьми его тепло, тебе нужнее. И страшно было не то, что холодный это говорил, а то, что говорил он дельно, и Глеб ловил себя на том, что слушает и почти соглашается.

Держал он их теперь одним. Не волей – воли на постоянную осаду не хватало. Словом, данным умирающему. «Живи человеком, не зверем. За меня тоже». Он повторял это про себя по десять раз на дню, как другой повторяет молитву, и это работало – покуда работало. Мёртвый Демьян держал его вернее, чем сумел бы живой: живого можно не послушать, а данного мертвецу слова не возьмёшь назад. Демьян и в земле остался его якорем. Только якорь этот истончился до нитки, и Глеб всё чаще думал, надолго ли её хватит.

За те девять дней он всего однажды взялся за ремесло. У северцевского мечника разошёлся на предплечье старый шов, рана загноилась, и князь, зная, кого держит под кровом, прислал раненого к Глебу. Глеб сел к нему, взял его руку в свои, ощупал жар вокруг раны, нашёл под кожей, где скопился гной, вскрыл, вычистил, стянул наново. Руки помнили всё сами и делали чисто, без него. А холодный, покуда он работал, глядел его глазами на ту же руку, на

ту же жилу под ней – и впервые нашёптывал не то, что прежде. Прежде холодный подсказывал, куда положить нож, чтоб человек выжил. Теперь он ронял тем же ровным цеховым тоном: а вот сюда, чуть выше, у самого локтя, если резануть, он не доживёт до утра, и никакой лекарь не поймёт отчего. Та же наука. Тот же глаз. Только повернутый смертью наружу. Глеб довязал узел, отёр руки и понял, что боится не голосов даже, а того, что однажды перестанет различать, где его глаз лечит, а где убивает, – потому что глаз-то у обоих один, его собственный.

На девятый день он собрался.

Собирать было нечего – всё его умещалось в котомку да в то, что он носил на груди под рубахой: склянку с боярышником, кольцо-поруку Ольги и смертное письмо в три сомкнутых кольца, приговор, что двенадцать лет ждал, покуда он дорастёт. Дорос. Оттого и уходил.

Он сходил сперва на погост у Северной заставы. Постоял над осевшим уже холмиком под голой берёзой, на котором не было ни креста путного, ни имени, – солдат без родни, каких тут лежали сотни. Сказать было нечего, и он ничего не сказал; за девять дней все слова, какие были, он уже переговорил про себя, и они истёрлись. Постоял, опустил на корточки, тронул мёрзлую землю ладонью – и поймал себя на том, что пальцы сами легли так, как ложились тысячу раз на чужое запястье, нащупывая жилу, пульс, жизнь. Над могилой жест был пустой: под этой землёй ничего не билось и не забьётся. Но тело делало его само, помимо разума, потому что двадцать лет искать под пальцами чужую жизнь ничем не смыть. Земля была холодна, а рука его холоднее: он давно уже не грел ничего, к чему прикасался. И мороз, что драл прохожих до костей, до него будто не доставал вовсе – Гора в нём стыла глубже всякого мороза, и снег, налипший на плечи, лежал на нём, как на камне. Он отёр ладонь и пошёл прочь, не оглядываясь, потому что оглядываться значило бы снова тянуть языком в пустую лунку.

Северцева он застал в оружейной, за поздней работой. Князь не спал по ночам с тех пор, как в дому у него завёлся связанный ходок кольца, – сидел с ним чуть не каждую ночь, тянул из гладкого человека нить за нитью то, что тот знал. Знал он немного и знал страшно: про венец, про Увядание, про то, как слово приходит гладким из воздуха. Всё это Северцев складывал в себе, мрачней день ото дня, – воин, привыкший драться с тем, у кого есть лицо и горло, впервые рыл под то, у чего ни лица, ни горла.

– Уходишь, – сказал он, не вставая. Не спросил. – На север.

– На север, – подтвердил Глеб. – Там моя земля. Там то, за чем они все идут. И там мои – двое стариков да девка, что стерегут это, сами не зная толком что.

– Слышал. – Северцев отложил точило. – Ходок мне всё выложил про твой камень. Живой Источник. – Он поглядел на Глеба тяжело. – Ты хоть понимаешь, лекарь, что везёшь на север не помощь, а войну? Покуда они не знали, что ты дорос, у твоих был покой. Теперь знают. Ты им сам себя выдал, взяв Аникея. За тобой пойдут. И придут не в столицу – туда, где камень.

– Знаю, – сказал Глеб. – Оттого и спешу. Хочу дойти прежде них.

Северцев встал, тяжёлый, подошёл, положил ему на плечо руку – ту же, какой уже раз ударил по рукам над телом Демьяна. Ладонь была тяжела, и Глеб, не желая того, прочёл сквозь неё хозяина: князь не спал третью ночь, усталость стояла в нём каменно, несданная, – скрученный ходок в горнице не отпускал Северцева и по ночам. Лекарь в Глебе не выключался даже теперь.

– Союз наш держится, – сказал он. – Я слова не беру назад, ты видел. Понадобятся руки на север – пришлю. Ходока держу живым, покуда доит; сдоив, решу. А теперь слушай, что скажу не как союзник, а как один битый жизнью человек другому. – Он помолчал. – Ты нынче силен, как мало кто. И ты пустой внутри, я вижу. Пустое да сильное – это, лекарь, самое опасное, что бывает на свете. Гляди, чтоб то, что ты везёшь на север защищать, ты по дороге сам не порешил – просто оттого, что стало некому тебя удержать. Был у тебя один такой. Я его хоронил с тобой рядом.

Глеб выдержал его взгляд. Сказать было нечего – князь попал в самую точку, в ту, о которой Глеб думал сам все девять дней.

– Знаю, – сказал он снова. И пошёл.

Оставалось одно прощание, и оно было тяжелее всех.

Ольга пришла сама, в последний вечер, в тот же чужой угол – одна, без свиты, закутанная, как ходят те, кому нельзя, чтоб их видели. За девять дней она приходила дважды: молча постоять, поддержать его за руку, как тогда, у могилы. Слов меж ними и теперь было мало, они оба слишком знали цену словам, чтоб тратить их впустую. Но нынче было последнее, и последнее требовало сказать.

– Ты уходишь туда, откуда можешь не вернуться, – проговорила она, не спрашивая. – И уходишь один. Опять один, Глеб. Ты вечно один.

– Со мной хватает попутчиков, – сказал он и тронул грудь, где под рубахой сидели двое. Она не улыбнулась.

– Оттого и боюсь. – Она подошла ближе, взяла его руку, стылую, в свои, тёплые, и держала. И Глеб опять почувствовал, как на это живое тепло изнутри поднимается холодный – тянется, любопытный, к тому, чего в нём самом нет. «Тёплая, – обронил холодный тихо, без злобы, деловито, как роняют над больным. – Живая. Возьми себе. Тебе нужнее». А поверх чужого голоса шло его собственное, непростое, ремесленное: пульс частил у неё под тонкой кожей запястья, ладонь суха от мороза и чуть дрожит – не от холода, от страха за него. Он читал её, даже прощаясь, даже держа за руку, потому что не умел иначе; и от этого чужого любопытства под рёбрами у него стыло что-то своё, живое. Он мягко отнял руку. Она поняла – она всё понимала – и не удержала.

– Вот, значит, как теперь, – сказала тихо. – Даже руку.

– Даже руку. Прости. – Он глядел в сторону. – Твоё тепло мне дороже всего, что осталось. И оттого пускать его в себя мне теперь нельзя: оно будит во мне то, чего я не удержу, если размякну. Демьян держал. Демьяна нет. Держусь тем, что зол и пуст. Оттаю – возьмут изнутри. Так что не тепло мне от тебя нужно нынче, Ольга. Другое.

– Что, – сказала она. Деловито, приняв правила, потому что была умна и любила его умом не меньше, чем сердцем.

– Разум. Твой. Ты одна умеешь глядеть на меня и видеть, где я ещё я, а где уже не я. Из столицы ты этого не разглядишь, знаю. Но зорина сеть тянется дальше, чем ты говоришь вслух. Найди способ слать мне на север слово. Не тепло – правду. Когда я начну считать своих как фигуры на доске, как считал их волк, – напиши мне, что я начал. Может, услышу. Может, это одно меня и удержит, когда слово Демьяна истреплется.

Ольга глядела на него долго, и в тёмных её глазах стояли разом любовь, и страх, и та ясная зоринская трезвость, что была ему сейчас нужнее любви.

– Дотянусь, – сказала она. – Через нашу родню, старыми трактами – тем же ходом, каким твои с севера пижут. Буду тебе зеркалом, коли иначе нельзя. А только запомни вот что, лекарь. – Она отступила к двери, закуталась. – Я гляжу на тебя и вижу человека, что так боится растерять себя, что уже наполовину сам себя схоронил там, под берёзой, рядом с солдатом. Не хорони до конца. Оставь чуточку. Мне будет к кому вернуться, когда всё это кончится. Ты обещал ему жить человеком. Живи и мне тоже.

И ушла – прежде, чем он собрался ответить, и хорошо, что прежде, потому что ответить ему было нечем.

Накануне вечером к нему пришла Ольга и принесла то, чего он не ждал.

Она пришла сама, без записки, в чужом плаще, и просидела недолго, и половину этого времени они молчали.

– Я узнала, куда ушла бумага Свиридова, – сказала она наконец. – Та, где написано, что канцлер месяц был под чужой рукой.

– И куда?

– Не в столичный приказ. Выше. – Ольга положила на стол сложенный вчетверо лист со своими выписками. – Оттуда её спустят не сюда, а в уезд, по месту земли. К вам на север.

Глеб взял лист и не развернул.

– Стало быть, суд будет там.

– Будет. Когда – не знаю, такие дела ходят по полгода. – Она помолчала. – Глеб, я не для того говорю, чтоб вас напугать. Я говорю, чтоб вы не удивились.

– Я не удивлюсь, – сказал он.

Он и вправду не удивился. Он всю зиму знал, что этим кончится: он был единственный на свете человек, который месяц держал умирающего канцлера при себе, и всякий, кому нужна была калитинская земля, рано или поздно должен был написать про это на гербовой бумаге.

Странно было другое. Странно было, что он услышал про суд, отметил и отложил – так же, как откладывал теперь всё, что нельзя решить сегодня.

– Вы бы хоть выругались, – сказала Ольга.

– Незачем.

– Прежде вы бы выругались.

Он поглядел на неё и ничего не ответил, потому что она была права, а объяснять было нечего.

Уходя, она сказала от двери:

– Оставьте чуточку, Глеб Андреич. Хоть на потом.

Наутро Глеб вышел из столицы.

Он вышел пеший, в простом, с котомкой за плечом, как выходят из большого города тысячи – мастеровые, богомольцы, отпущенные солдаты, – и город выпустил его так же равнодушно, как впустил осенью: одним безымянным путником больше на длинном тракте. Никто не проводил. Так было верней. За спиной оставалась столица, полная его врагов – скрученный ходок в княжьей горнице, серый Радим, что стерёг его след и наверняка уже пронюхал, что лекарь снялся с места, вся паутина гладких, которой он вырвал одну нить и указал на себя. Впереди лежала долгая зимняя дорога на север – к живому камню, к последним своим, к войне, что только начиналась.

А у последней заставы, где кончался город и начинался тракт, его ждали.

В стороне от дороги, под голым придорожным вязом, стоял человек и, видно, ждал давно – снег вокруг него был утоптан, а сам он не мёрз, не переминался, стоял покойно, как стоит верстовой столб. Простой, неприметный, в сером дорожном платье, каких по тракту тысячи. Глеб скользнул было по нему взглядом и прошёл бы мимо, как проходят мимо столба, – да что-то заставило приглядеться. И, приглядевшись, он ощутил небывалое: в нём разом стихли оба голоса. Замерли, притаились, вжались, как вжимается зверь, учувший то, что больше и старше его.

Человек был гладкий. Гладкий, как Аникей Жильцов, – только глаже. У Жильцова под гладкостью была корысть, был расчёт, было живое, пусть и подлое, нутро. У этого под ней не было ничего. Лицо приятное, никакое, забываемое в тот же миг, как отведёшь глаза, и Глеб, глядя на него в упор, поймал себя на том, что не может его запомнить: ни лет, ни примет, ничего, за что уцепился бы взгляд. Гладкое место там, где полагалось быть человеку.

– Глеб Андреевич Калитин, – сказал он. Не вопросом. Голос был тихий, ниоткуда, без тепла и без злобы. – Дорос. Мы ждали.

Глеб не ответил сразу. Он стоял и делал то, что умел лучше всего, – читал человека. Читал глазами, дыханием, тем, как ложатся слова, как стоит тело, где бьётся под кожей жила. И впервые за две жизни ремесло дало осечку. Читать было нечего. Тело его не лгало и не говорило правды – оно вообще ничего не говорило, будто и не тело стояло под вязом, а искусно слепленная его личина. Жила не билась там, где положено. Дыхание шло, а пара на морозе не давало. Глеб глядел в упор и не мог ни за что зацепиться, как не мог зацепиться за это гладкое лицо, и от бессилия своего главного козыря ему сделалось не по себе крепче, чем от прямой угрозы.

А внутри у него было тихо. Оба голоса, что девять дней не смолкали ни на миг, теперь лежали, вжавшись, не дыша, как лежит мелкий зверь, когда над норой прошло большое. Огневик не скулил. А холодный – холодный по мертвецкой своей привычке потянулся было ощупать чужого, как щупал всех: где под кожей жила, куда лёг бы нож, за что взять тело, чтоб оно послушалось смерти. И наткнулся на пустоту. Читать было нечего, резать нечего: ни жилы, ни тепла, ни близкой смерти, ничего, во что вошла бы сталь, ничего, за что уцепился бы даже мертвец, всю жизнь и всю не-жизнь знавший тело как открытую книгу. И тогда холодный, мастер по живому и мёртвому мясу, впервые на памяти Глеба отпрянул и затих. Они боялись – оба. И это было страшнее всего, что Глеб видел за минувший страшный год: то, что жило в нём и чего он сам боялся, само боялось этого стёртого человека и того, что за ним стояло.

– Кто «мы», – сказал Глеб наконец. Не про имя спросил – он знал уже про имя, вернее, про то, что имени нет. Спросил, чтоб услышать, как оно ответит.

– Ты сам знаешь, боярич. – Он чуть склонил голову, и движение вышло неживое, точное, как у заводной куклы. – Ты вынул из тюфяка нашу бумагу и носишь её на груди. Ты допросил нашу руку в столице. Ты видел оттиск: три кольца и гладкий обод поверх. Кольцо ты уже знаешь. А обод – это мы.

Он не хвастал и не грозил. Он сообщал, как сообщают путнику, куда ведёт дорога.

– Аникей Жильцов был рукой, – продолжал он тем же ниоткудошним голосом. – Острожский был рукой. Рук у нас много, и рук нам не жаль, ты видел, как легко мы их отсекаем. Тебя мы отсекать не станем. Тебя мы ждали двенадцать лет, боярич, растили, берегли – да-да, берегли, не удивляйся: пока ты рос, тебя пальцем никто не тронул, а стоило тебе поднять голову не вовремя, тебя всякий раз кто-нибудь да выручал. Ты думал – случай. Ты думал – удача списанного, которому нечего терять. – Гладкое лицо не улыбнулось, но в голосе проступило что-то, отдалённо похожее на снисхождение. – Не удача, боярич. Мы. Ты нам нужен целым и в возрасте. И вот ты дорос.

Глеб слушал, и под ложечкой у него медленно оседало холодом. Он знал уже из уст Жильцова, что живой Источник берётся только своей кровью, только наследником в возрасте над своей землёй, – но одно дело знать это от загнанного ходока, и другое – слышать спокойно, буднично, из стёртого рта того, кто двенадцать лет вёл его к этому дню, как ведут телёнка к весне, до убоя.

– Стало быть, я вам ключ, – сказал Глеб.

– Ключ, – согласился он. – И оттого мы за тобой не гонимся. Гоняются за тем, кто может уйти. А ключ уйти не может. Ты вон думаешь: как я угадал эти ворота, отчего не вышел другими, не уехал днём позже, верхом? – Гладкое лицо не дрогнуло, но у Глеба похолодело внутри: тот читал его так же легко, как сам Глеб читал чужих, – и оттого, что это чтение было обоюдным, а слепым оставался лишь Глеб, сделалось совсем скверно. – Я не гадал, боярич. У каких бы ворот ты ни вышел, у тех бы я и стоял. Замок один, он на твоей земле, отпереть его можешь только ты, и куда бы ты ни повернул – ты поворачиваешь к нам. Иди. Дойди до своего севера, до своего камня. А после отопри его нам – сам, своей рукой, своей кровью, как заведено. Взять

тебя силой, скрутить да поволочь к камню – проку нет: замок на страх и на силу не отзовётся, он ждёт руки хозяина, вольной руки. Оттого мы тебя и пальцем не трогаем. Мы подождём. Мы умеем ждать дольше, чем ты умеешь жить.

– А если не отопру, – сказал Глеб.

– Отопрёшь. – В голосе не было и тени сомнения, и от этой мёртвой уверенности было холоднее, чем от свежего снега за воротом. – Не по доброй воле – так по нужде. У тебя на том севере, боярич, двое стариков и рыжая девка, что стерегут наш камень, сами не зная толком что. У тебя тут, в столице, зорина наследница, что глядит на тебя не как на выгоду. Ключ всегда отпирают – коли не за посул, то за то, что ему дорого. Мы никого пока не тронули. Мы, в отличие от кольца, крови не любим: кровь шумна, кровь оставляет следы, а мы не любим следов. Мы любим порядок. Ты сам придёшь и сам отопрёшь, чтоб те, кого ты любишь, дожили до тепла. Так тише. Так вернее. Так всегда и бывало.

Он помолчал и добавил, и тут единственный раз за весь разговор в мёртвой его ровности мелькнуло живое любопытство:

– И ещё. Ты думаешь, нам нужен только твой камень. Не только, боярич. Нам занятно и то, что ты носишь под рёбрами. Двоих. То, за что Орден жжёт таких, как ты, без суда. Редкая вещь. Такими не разбрасываются. Может статься, ты нам дорог не одним лишь ключом. Об этом – после. Дорастёшь и до этого.

И, сказав, гладкий повернулся и пошёл прочь – не в город, не по тракту, а в сторону, к голому зимнему полю, мёртвым неспешным шагом, и снег под ним не проминался, и пар в морозном воздухе не вился у его рта, как не вился под вязом, – как не проминается и не дышит то, что лишь по виду человек. И Глеб, глядя ему вслед, впервые связал одно с другим: так же не проминался снег под мёрзлыми ступнями выходца в северном подполе. От этой связи по спине прошёл озноб. Гладкий уходил в белое пустое поле, делаясь меньше, туманнее, и растаял в стылой мгле прежде, чем дошёл до края, будто поле его и вобрало.

Глеб остался один на краю столицы, на разъезженном тракте, с котомкой за плечом и смертным письмом на груди.

Он постоял, глядя в то поле, где растаял гладкий. Внутри у него медленно, с опаской, отходили оба голоса – озирались, ощупывали тишину, не веря, что большое ушло. А сам Глеб думал холодно и ясно, как думал всегда, когда всё оказывалось хуже, чем он полагал.

Он думал, что дошёл до правды и что правда эта отменяла всякий выбор. Он-то шёл на север спасать: своих, землю, живой камень. А выходило, что своим приходом он этот камень им и отпирает, потому что он и есть ключ, и другого ключа нет, и, куда ни поверни, он ведёт врага к тому единственному, что должен уберечь. Не идти нельзя – там его последние, там нежить лезет из-под льда, там Таисья со стариком не сдюжат одни. Идти – значит нести замку его отмычку в собственной крови.

И над всем этим, поверх кольца, поверх гладких, стояла ещё та, вторая правда, оброненная напоследок мёртвым ртом: им занятно и то, что он носит под рёбрами. Двоих. Стало быть, война шла не только за камень. Война шла и за него самого – за то, чем он проклят, за Глотающую, за чужие голоса, что боятся гладких и всё же чем-то гладким нужны.

– Ну и ладно, – сказал Глеб вслух, пустому тракту, стылому полю, самому себе. Голос вышел чужой, гладкий, как у того, и Глеб сам это услышал и криво усмехнулся, одним углом рта, потому что усмешка была последнее, что в нём ещё оставалось живого. – Ключ так ключ. Только замки, господа хорошие, иной раз ломаются в руке. И ключи иной раз ломаются тоже. Поглядим, кто раньше.

Он поправил котомку, повернулся спиной к столице и пошёл на север – Гора, набитая чужими голосами, несущая врагу отмычку от последнего тепла мира, один, как не был ещё никогда, и удерживаемый на плаву одной тонкой ниткой обещания, данного мёртвому солдату. Дорога была долгая. Впереди ждали снега, вёрсты, Аглая, что знала про его дар страшное и

недосказанное, живой камень, что дышал в подполе, и то, что просыпалось под чёрным льдом старицы. А позади, в белом поле, ждали, умея ждать, гладкие.

Так начинался четвёртый круг его новой, чужой, проклятой и всё же его собственной жизни.

Глава 2 Долг Кривой

До северного города Глеб добирался семнадцать дней.

Он мог бы вдвое быстрее. Северцев дал бы денег на почтовых, попроси он, да и своих хватало. Но верхом, на станциях, среди подорожных и разговоров его бы запомнили: боярич, Гора, лекарь, снявшийся из столицы в аккурат после того, как в княжьем доме завёлся скрученный ходок кольца. Пеший же, в сером, с котомкой за плечом, он был никто – один из тысяч, кого зима гонит по трактам на север: к родне, к работе, к смерти. Пешего никто не помнит. Оттого он и шёл пешком, и оттого дорога тянулась долго.

Первые дни дались хуже всего. Не ногами – ноги у Горы не уставали, и мороз, что валил с ног богомольцев на обочинах, до него будто не доставал, отступал, как отступало всё живое. Хуже было внутри. Пока в поле за столичной заставой стоял гладкий, умея ждать, оба голоса в Глебе лежали, вжавшись, не дыша. А как отдалилась столица, как выветрился из него тот стылый ужас, голоса отошли, огляделись – и заговорили снова, в оба лада, громче прежнего, будто наверстывая молчание.

Огневик скулил на холод. Ему, привыкшему к жару чужих ладоней, зима была мукой: он подначивал согреться, пустить силу, спалить сушняк у дороги в потеху, ударить огнём в наглуемую морду встречного, что не так поглядел. Мелкая, трусливая, злая болтовня, и Глеб отмахивался от неё, как отмахиваются от мошки.

Холодный молчал дольше и был страшнее. Он не скулил и не просил. Он смотрел вместе с Глебом на дорогу, на людей, и изредка ронял слово – трезвое, дельное, тем стылым цеховым тоном мастера по живому телу. Вон у того возчика, что не уступил тропы, шея открыта над воротом; сюда бы нож, вполвершка, и не крикнет. Вон нищий на паперти помрёт к утру сам, так не всё ли равно; в нём тепла на час, возьми, тебе нужнее. Холодный не приказывал. Холодный рассуждал, и страшно было не то, что он говорил, а то, что говорил он всякий раз по делу, и Глеб ловил себя на том, что слушает и на треть согласен.

Держал он их одним. Не силой – силы на постоянную осаду не доставало даже у Горы. Словом, данным мёртвому. Живи человеком, не зверем, за меня тоже. Он повторял это про себя на каждой версте, как другой повторяет молитву, чтоб не сбиться с шага, и покуда повторял – держалось.

На пятый день его проверили.

Проверил не гладкий и не кольцо – проверила простая дорожная нужда, какая была на трактах испокон. Под вечер, на глухом перегоне меж двумя деревнями, где лес подступал к самой дороге, из ельника вышли на него четверо. Лихие – из тех, что зимой сбиваются в свору и живут с тракта: отпущенные солдаты без места, беглые, мужики, кого голод согнал с земли. Отощавшие, обмороженные, злые, с топором, с кистенём, с ржавым тесаком. Обложили пешего одиночку споро, привычно, поперёк дороги и с боков, как обкладывают волка.

– Клади котомку, барин, – сказал передний, косматый, с бельмом. – Клади да ступай себе. Тебе жить, нам есть.

Глеб остановился. И, прежде чем успел подумать, прочёл их – привычкой ремесла. Не добычу увидел. Больных, что сами не знают, чем больны. У косматого одышка и синь в губах, сердце изношено вконец, на морозе такому не боец – сам сляжет к весне. У того, что с кистенём, старая рана тянет правый бок, он бережёт его, не разгибаясь. У молодого зрачки во всё око и жила на шее частит за сто – не злой, а перепуганный до дурноты, мальчишка, из тех, кого он сам собирал когда-то под свою руку. Голодные, конченные, битые жизнью люди, каких зима гонит на большую дорогу помирать. Он прочёл их жалостью, за один вдох.

А в тот же вдох оба голоса подались вперёд, к теплу чужой крови, как псы на сворке к дичи, – и та же картина, что Глеб прочёл жалостью, легла перед ними разбоем. Огневик запля-

сал в ладонях жаром: жги их, четверо, что тебе четверо, ты Гора, спали всех разом, будет дымно и весело. А холодный не заплясал. Холодный взял ту же одышку, ту же большую рану, тот же частый пульс, что Глеб прочёл, чтоб пожалеть, – и повернул их смертью наружу. Косматого не тронь рукой, пугни, сердце само сорвётся, и рук марать не надо. К тому, что с кистенём, зайди справа, где рана, там он не заслонится. Молодого толкни первым на других, он и так готов бежать. А хочешь тихо – вот у каждого место, куда войдёт сила без крика. Покажу. Я всё тебе покажу. Тот же глаз, что жалел, теперь примерялся резать, и это было хуже всего.

И Глеб понял, холодно и ясно, что может. Что четверо лихих для Горы – работа на пять вдохов, и боем это не назовёшь, и что холодный сделает эту работу чище и страшнее, чем сделал бы любой палач, потому что знает тело как открытую книгу. Понял – и ужаснулся не им, а тому, как легко и охотно легла в нём эта мысль. Как обрадовались оба голоса. Как обрадовалось что-то в нём самом.

Он стоял, и на один долгий вдох в нём качнулась перегородка. Некому было держать. Демьян лежал под голой берёзой в семнадцати днях пути. Ольга была далеко, за снегами, и её тепла, её разума, что одни умели показать ему, где он ещё он, тут не было. Был мёрзлый тракт, четверо мертвецов, что ещё дышали, и двое, что рвались из-под рёбер сделать их мертвецами по-настоящему.

– Напиши мне, когда я начну считать своих как фигуры на доске, – сказала ему Ольга в последний вечер. А эти были не свои. Этих холодный уже считал.

Глеб выдохнул. И вместо того, чтобы дать голосам волю, он сделал одно простое движение – то, чего не делал на людях никогда, берёгся: он снял с себя личину серого путника и дал им почуять, кто стоит перед ними. Не ударил. Просто перестал прятать Гору.

Сила пошла от него ровно и тяжело, как идёт стужа от полыни, – без огня, без грома, одним давлением, от которого у лошадей подгибаются ноги, а у людей стынет нутро прежде разума. Косматый осёкся на полуслове. Бельмо его закатилось, он попятился, не понимая ещё, отчего вдруг так страшно, отчего земля будто ушла, отчего этот пеший в сером враз перестал быть человеком и стал горой, что глядит на тебя сверху, как гора глядит на муравья. Молодой заскулил и сел в снег. Тот, что с кистенём, выронил кистень.

– Идите, – сказал Глеб. Голос вышел тихий и не свой – гладкий, ровный, без злобы, и он сам это услышал и стиснул зубы. – Живите. Сегодня. Я мог иначе. Уходите, пока во мне говорит тот, кто вас отпускает.

Они ушли. Не ушли – кинулись, ломая наст, не разбирая дороги, в ельник, четверо взрослых мужиков от одного пешего, и косматый на бегу выл в голос, как воеет отрок, впервые заглянувший в лицо смерти. Глеб постоял, отпуская силу назад под грудину. Оба голоса оседали в нём медленно, нехотя, недовольные, обманутые, как псы, у которых из-под носа увели дичь. Холодный был холоднее прежнего. Слабак, сказал он без выражения. Отпустил четыре куска мяса, что завтра зарежут другого. Милосердие твоё – глупость и трусость. Придёт день, я тебя от неё отучу.

– Придёт, – сказал Глеб вслух пустой дороге. – Но не сегодня.

Он поправил котомку и пошёл дальше, и в первый раз за пять дней подумал впервые не о Демьяне. О том, что сказал ему Северцев на прощание. Пустое да сильное – самое опасное, что бывает на свете. Гляди, чтоб то, что ты везёшь защищать, ты по дороге сам не порешил. Князь был неглуп. Князь знал, о чём говорит. А до севера оставалось ещё двенадцать дней, и на каждом из них с ним рядом шли двое, что хотели, чтоб он размяк.

На двенадцатый день, в глухой деревне, где он заночевал на полатах у бобылихи за медный грош, он увидел то, чего год назад, уходя на юг, ещё не было. Печать-камень над старой управой, что искони давал свет и тепло на всю площадь, потух и стоял мёртв; под ним, как встарь, жгли лучину да сальную свечку. Хозяйка, наливая ему щей, пожаловалась вполголоса, что внук её, мальчонка десяти лет, всё никак не прорастит Зерна, а в её-то годы, сказывала,

оно всходило у детей к семи само, как трава по весне; нынче не всходит вовсе, будто земля скупеет и жать больше нечего. Глеб хлебал щи, слушал и думал, что видит воочию ту самую зиму, которую гладкие под венцом собрались пережить чужими Источниками. Она уже шла – тихо, снизу, от края, из таких вот глухих деревень, где Силу некому держать. Просто в столице её пока заслоняли огни.

Северный город открылся ему на семнадцатый день, под вечер, с гребня знакомого холма, и Глеб остановился, глядя вниз, и не сразу поверил глазам.

Он уходил отсюда без малого год назад – мальчишкой, бояричем без Силы, списанным, что вёз в столицу чужую поруку и надежду. Город тогда, даром что небогатый, жил: дымили посады, горели по улицам Печать-фонари ровным белым светом, на торгу гомонили. Теперь он глядел вниз и видел город, из которого что-то ушло. Фонари горели через один, а те, что горели, светили тускло, с прожелтью, мигали, будто им не хватало силы держать огонь; иные столбы стояли черны и мертвы. Дыма над посадом было меньше. Снег на улицах лежал нечищен. И даже отсюда, с холма, чуялось, что город присел, съёжился, как съёживается больной, которому холодно изнутри.

Увядание, понял Глеб. То самое, о чём буднично поминал в столице скрученный ходок и о чём Острожский обмолвился ещё раньше. Сила уходила из мира по капле, и раньше всего – из мест малых, дальних, небогатых, откуда её некому было держать. Столица ещё сияла, отбирая свет у окраин. А тут, на севере, у края, уже наступала та зима, которой гладкие под венцом собирались пережить чужими Источниками. Он видел её начало своими глазами, и от этого зрелища ему сделалось холоднее, чем от мороза.

Он спустился в город затемно и пошёл, не спрашивая дороги, туда, где год назад отдал бы всё, чтоб не идти. Нынче шёл сам, потому что больше идти было не к кому. В Нижний город. К Кривой Аглае.

Нижний город и прежде был не сахар – слобода у реки, где селился всякий люд, кому в верхнем не было места. Теперь он был вовсе глух. Глеб шёл кривыми проулками мимо тёмных окон, мимо забитых лавок, и снег скрипел под ним один на весь околотов. У знакомого покосившегося дома под драной камышовой кровлей он остановился. В волоковом оконце теплился огонёк – не Печать-фонарь, живой, лучина. Кривая была дома.

Он толкнул низкую дверь и нагнулся, входя, в тепло, в запах трав, дёгтя, кислого варева и ещё чего-то горького, костоправского, что помнил с той зимы. И услышал из угла, от печи, ровный, скрипучий, ничуть не удивлённый голос:

– Затвори дверь, боярич. Студу напустишь.

Она сидела на прежнем месте, у огня, сторбленная, в тёмном платке, и глядела на него одним живым глазом – правым, острым, чёрным; левая половина лица, стянутая старым ожогом, с мёртвым, вечно приспущенным веком, оставалась неподвижна, как половина маски. И, ещё не сказав ей слова, Глеб прочёл её всю, с порога, одним взглядом, потому что не умел глядеть на человека иначе: за год она сдала – дышала с присвистом, пальцы на колене свело возрастом, а ожог на левой половине стянуло ещё туже, рубец с годами не отпускал, а тянул. Лекарь в нём смотрел вперёд разума и здесь. За год Аглая не переменилась. Переменился он, и она это видела, и по единственному её глазу Глеб понял, что видит она куда больше, чем ему хотелось бы.

– Пришёл долг отдавать, – сказала она. Не спросила. И, не дожидаясь ответа, поднялась, малая, кривая, и пошла на него, приглядываясь снизу вверх. – Год как обещал. Мальчишкой уходил. – Она остановилась в шаге, и живой глаз её медленно прошёл по нему сверху донизу, как проходит рука костоправа по хребту, ища перелом. – А воротился... вот этим.

– Аглая, – начал он.

– Молчи. – Она подняла сухую ладонь. – Дай гляну. Стой смирно.

И она поглядела. Не глазом – Глеб чуял, как она глядит тем, чем глядела бывшая Печатница, тем чутьём, каким её братья по Ордену находили чужую Силу, чтоб судить и жечь. Она обошла его кругом, малая, задирая голову, и лицо её живой половиной твердело с каждым шагом. Под её взглядом обнажалась в нём Гора – тяжёлая, спокойная, какой не было год назад, – и Зерно, что расколосось и переросло себя. А потом единственный её глаз остановился на его груди, там, под рёбрами, где сидели двое, и в этом глазу проступило то, чего Глеб не видел у неё никогда: страх.

– Двое, – сказала она тихо. – Ты носишь двоих.

– Двоих, – подтвердил Глеб.

Аглая отступила к печи, села, будто ноги не держали, и долго молчала, глядя в огонь мёртвой и живой половиной разом. Когда заговорила снова, голос её был другой – не скрипучий, домашний, а глухой, будто она доставала слова из места, куда давно их спрятала.

– Помнишь, боярич, ту зиму? Как пришёл ко мне мальчишкой, что в один месяц взял чужой огонь и слёг досуха, и не знал, что с ним, и боялся Ордена. Я тебе тогда рассказала про твой дар, что смогла. Орган, что не бездонен. Откат. Лимит. Предел по рангу. Всё рассказала. – Живой глаз повернулся к нему. – Всё, да не всё. Была одна цена, что я тебе не назвала. Придержала. Сказала себе: рано; мал; напугаю до смерти без нужды; успею, коли он вырастет и придёт один. – Она усмехнулась одной живой половиной, и вышло горько. – Вот ты и вырос. Вот и пришёл. Один. Садись, боярич. Слушай, за чем шёл.

Глеб сел на лавку напротив, и оба голоса в нём вдруг притихли, как притихают, когда о них говорят.

– Перенятие оставляет в тебе не память, – сказала Аглая. – Не эхо. Не тень. Люди зовут это голосами, оттого что не хотят знать правды, а правда вот она. Когда ты забираешь чужую Печать, ты забираешь не силу его. Ты забираешь его. Всего, целиком, каким он был в тот последний миг: его волю, его злобу, его умение, его голод. Он не умирает в тебе. Он селится. Спит, покуда ты силен и держишь хватку. Ждёт. – Она подалась вперёд, и живой глаз её горел в свете лучины. – А как ты ослабнешь надолго – от горя, от раны, от хвори, от старости, – самый крепкий из твоих жильцов перестает быть жильцом. По ниточке. Сперва его слово мелькнёт в твоей голове, и ты подумаешь – моя мысль. Потом его выбор ляжет твоей рукой, и ты подумаешь – я так решил. А после в один недобрый час хозяином под твоей кожей станет он, а ты – голосом за его перегородкой. Будешь глядеть из глубины, как он носит твоё лицо, ходит твоими ногами, любит и убивает от твоего имени. И это, боярич, не смерть. Это хуже смерти. Это когда тебя съели, а ты ещё смотришь.

Глеб опустил руки на колени. Пальцы сами сложились – придерживали пустое воображаемое запястье, легли считать пульс, как ложились тысячу раз на живое. Живой жест, свой, ремесленный. Он держался за него, как держатся за поручень над пропастью.

В избе стало очень тихо. Трещала лучина. Где-то под полом скреблась мышь.

– Оттого Орден и жжёт таких, как ты, – сказала Аглая. – Не за краденую силу. Силы им не жаль. За то, что рано или поздно под кожей носителя оказывается не носитель. Живой мертвец, что съел живого и надел его. И ярче всего гниёт тот, кто взял много и вдруг лишился того, что держало его человеком. – Она замолчала. Потом добавила, глухо, глядя ему в самые зрачки: – А ты, мальчик, взял двоих. Поднялся до Горы. И схоронил, я чую по тебе, того, кто тебя держал. Ты воротился ко мне точно таким, каких я всю жизнь училась узнавать первой – чтоб выжечь прежде, чем станет поздно.

Глеб выдержал её взгляд. Внутри у него всё осело холодом, но руки он не отвёл и глаз не опустил.

– Так выжги, – сказал он ровно. – Ты умеешь. Ты за тем и в Ордене была.

– Дура была бы, кабы могла, – отрезала Аглая. – Тебя нынче не выжжет и весь Орден скопом, поздно. Гору жечь – самим сгореть. Да и не за тем ты шёл, и не за тем я тебя год ждала. – Она откинулась к печи, и живой глаз её притух. – Я тебе не приговор пришёл сказать, боярич. Я тебе пришёл сказать, как не сбыться приговору.

– Слушай про Зерно, – сказала Аглая, помолчав, и подбросила лучины. – Ты небось решил, будто с тобой что не так. Будто у людей Сила растёт от труда, от учения, ровно, по ступеньке, а у тебя – рывками, через кровь, через беду. Через мертвеца всякий раз. Верно решил. Только не с тобой не так – с ними. У тебя Зерно из тех, что растят не трудом, а событием. Оно не поднимается по крохе. Оно копит и молчит, копит и молчит, а на самом большом твоём потрясении – раскалывается и перерастает себя разом. Пыль в Камень – когда впервые убил. Камень в Скалу – не помню, что там у тебя было, а было большое. Скала в Гора – над телом того, кого ты схоронил. Так?

– Так, – сказал Глеб глухо.

– То не случай и не удача, – сказала Аглая. – То закон. Такое Зерно берёт большим скачком много силы разом – и за каждый скачок платит из тебя. Не из мощны, не из времени. Из тебя самого. Из твоего века. – Она поглядела на него тяжело. – Оттого такие, как ты, до седин не доживают, боярич. Не оттого, что их убивают, хоть и это тоже. Оттого, что каждый большой скачок берёт годы наперёд, с дальнего конца. Ты платишь за нынешнюю силу той старостью, которой у тебя не будет. – Она чуть склонила голову набок, разглядывая его живым глазом. – Ты год как ушёл отсюда мальчишкой. Погляди в воду поутру. Тебе восемнадцать, а у виска седины, и глаза у тебя нынче старше моих. Ты уже платишь. И заплатишь ещё, коли пойдёшь той дорогой, какой, я чувю, идёшь.

Глеб молчал. Он знал про седину – видел в столице, в бадье с водой, и отложил, как откладывал всё, с чем нельзя было ничего поделывать. Теперь ему назвали цену этой седины, и цена была та, что называли, – не золото, не боль, а годы, которых не будет. Долгая старость, которой у него не станет. Он подумал вдруг, некстати и остро, об Ольге, о её словах: мне будет к кому вернуться, когда всё это кончится. Оставь чуточку. И понял холодно, что чуточку-то он, может, и оставит – а долгого не оставит никому, потому что долгого у него уже нет.

– Зачем ты мне это говоришь, – спросил он, – коли поделывать нельзя?

– Затем, что поделывать можно, – сказала Аглая. – Не с ценой – цена уплачена, назад не берут. С тем, чтоб тебя не съели прежде срока. Слушай, боярич, тут вся моя наука, и другой не будет. Носителя держит человеком не сила. Силой ты жильцов только злишь. Держит его привязь. Живая привязь к живому. К тому, кого любишь больше, чем боишься за себя. Покуда у носителя есть такая привязь – есть за что уцепиться, когда жилец потянет за руль; есть чей голос он отличит от чужого; есть куда возвращаться. Был у тебя такой якорь. Солдат. Я его не знала, а чувю по тебе, что был, и что нет его. – Живой глаз её смягчился впервые за весь разговор. – Так вот тебе моё слово, дороже долга. Найди новую привязь и держись за неё крепче, чем за Гору. Не за силу держись, дурень, – за людей. Только это и держало носителей людьми, покуда держало. А кто рвал все привязи, чтоб не мешали быть сильным, тех и съедали первыми.

– А ещё, – она помолчала. – Знала я одного, что взял троих. Первые двое в нём орали да грызлись меж собой, и он их слышал, и оттого держал. А третий был тихий. Тише всех. Он про третьего и думать забыл – чего бояться тихого. – Аглая поглядела на Глеба единственным живым глазом. – А тихий оттого и тих, боярич, что кричать ему уже незачем. Он своё взял. Хозяин ещё год ходил, ел, смеялся, детей на колене качал – а хозяина уже не было, был третий в его шкуре. Так что коли станет в тебе однажды тихо да покойно – не радуйся, что совладал.

Оно, может, не ты совладал. Оно, может, тебя доели. – Она отвернулась к огню. – Двоих несёшь. Третьего не бери. Больше ни о чём не прошу.

Глеб сидел, глядя в огонь, и укладывал в себя это всё, ящик за ящиком, как укладывал всегда. Привяжь. Не бери больше. Годы наперёд. Он поднял голову.

– Ты забыла спросить, зачем я к тебе шёл, – сказал он. – Долг отдать – это раз. А два – я тебе хотел кое-что рассказать, и поглядеть, испугаешься ли ты. Ты, бывшая из Ордена. – Он помолчал. – На заставе, как уходил из столицы, меня ждал человек. Гладкий. Глаже Жильцова, глаже всех, кого я читал. Пустой. Лица не запомнить. Пар на морозе изо рта не шёл. И назвался он не именем – назвался мы. Тремя кольцами и гладким ободом поверх. Венцом. Сказал, что кольцо – рука, а он и такие, как он, – то, что над рукой. И оба мои голоса, Аглая, что не смолкают ни на миг, при нём легли и не дышали. Испугались. Слыхала ты про гладких под венцом? Ты, Печатница?

Аглая не ответила сразу. Живая половина её лица медленно побелела, а рука, сама собой, потянулась и легла на грудь, будто заслоняясь. Долго она молчала, глядя в лучину, и Глеб видел, что попал в самое дно, в то, что она прятала глубже даже, чем прятала цену его дара.

– Слыхала, – сказала она наконец, и голос её сел. – Раз слыхала. От старого мастера, что учил меня, когда я ещё верила, будто Орден стоит на страже мира. Он мне про гладких сказал один раз, спяну, а наутро глядел так, будто хотел бы, чтоб я забыла, и я двадцать лет старалась забыть. – Она подняла на Глеба глаз, и в нём стоял тот же страх, что она увидела в нём. – Орден жжёт носителей и толкует про краденую Силу, боярич. А по правде Орден искони приставлен не к носителям. Он приставлен к тому, чтоб мир не заметил, как из него уходит Сила. Чтоб не спрашивал, куда. Потому что уходит она не сама. Её сводят. Медленно, век за веком, гладкие под венцом, что старше Домов, старше Ордена, старше, может, и самой Силы. И мой мастер сказал: страшнее всего, что Орден про них знает – и служит им, сам того не смея признать. Жжёт, кого укажут. Молчит, о чём велено. – Она отвернулась к огню. – Я оттого и ушла. Не за тебя – за это. Не смогла больше жечь мальчишек, чтоб кто-то пустой и безликий спокойно студил мир. Вот тебе и весь мой Орден, боярич.

Она замолчала, и в избе снова стало слышно, как трещит лучина и скребётся под поломмышь.

– А теперь тот безликий стоял передо мной, – сказал Глеб тихо, – и говорил, что я ему нужен. Что я ключ к живому Источнику на моей земле, и что они меня двенадцать лет растили, как телёнка к весне. И что придут не за силой моей, а за той старостью, которой у меня, ты говоришь, нет, – придут за теми, кого я люблю, чтоб я сам отпер им замок. Так что привяжь твоя, Аглая, что должна меня держать человеком, – она же и есть то, за что меня возьмут.

– Погоди-ка, – сказала Аглая. – Ты сказал: ключ к Источнику на твоей земле.

– Так он и сказал.

– На твоей, – повторила она. – Не над Источником, не при нём, а на твоей земле. Он этак и выговорил?

Глеб подумал.

– Он сказал: наследник в возрасте над своей землёй, своей кровью, вольной рукой.

Аглая пожевала губами.

– Тогда слушай, что я тебе скажу, и запомни крепче всего прочего, что я тебе нынче наговорила. Замок этот, боярич, не на тебе висит. Он висит на трёх словах разом: наследник, в возрасте, над своей. Убери любое – и нет ключа.

– Убери какое?

– Да хоть какое. – Она загнула палец. – Помрёшь – нет наследника. Это они знают, оттого и берегут. Был бы мал – рано, ждали бы. Ждали двенадцать лет, дождались. – Она загнула третий. – А вот третье, боярич, самое тонкое, и про него, я чую, никто из вас двоих не подумал. Земля должна быть твоя.

Глеб медленно повернул к ней голову.

– Она моя.

– Она твоя, покуда бумага говорит, что твоя, – сказала Аглая. – А бумагу пишут не в поле. Она подобрала подол и встала к печи.

– Я тебе это к чему. Ты нынче будешь ждать, что они придут тебя ломать, стеречь и родню твою хватать. И они придут, тут я не спорю. А только у них есть путь короче и тише, и он им самим боком выйдет, да они про то, может, и не думают: отобрать у тебя не жизнь и не своих, а строчку. Одну строчку, боярич, в чужой книге. И ключа не станет, и ломать никого не надо.

Глеб долго молчал.

– Я про это не думал, – сказал он наконец.

– Оно и видно.

Аглая поглядела на него долго, единственным своим живым глазом, старая, кривая, обожжённая женщина, что двадцать лет пряталась от слова, которое он принёс ей в дом.

– Значит, так, – сказала она. – Стало быть, всё ещё хуже, чем я думала, когда тебя год ждала. – Она поднялась, малая, и вдруг положила сухую ладонь ему на голову, на тёмные волосы с ранней сединой у виска, как кладут руку на голову больному или сыну. Ладонь была тёплая, сухая, лёгкая. Глеб замер – и, как всегда, не сумел не прочесть её: кожа старчески суха, но жила под ней бьётся крепко и ровно, не по годам; привычный ей, застарелый вечерний жар; рука, что переломала и вправила костей больше, чем он видел за две жизни. Он читал её, даже когда лечили его, потому что не умел иначе. Он давно уже не помнил, когда его касались просто так, а не он касался чужих тел ремеслом. Оба голоса под рёбрами дрогнули на это тепло – и промолчали. – Долг твой прощаю, боярич, – сказала Аглая глухо. – Не деньгами платить. Уплатишь тем, что дойдёшь до своей земли и останешься собой. Каждый день, что ты Глеб, а не то, что под кожей у тебя, – мне уплата. А теперь ступай к своим. Там девка твоя рыжая одна стережёт то, за чем идёт весь свет, и, чую, недолго ей одной сдюжить. Иди. И помни оба моих слова: держись за живое крепче, чем за силу. И не бери третьего.

Глеб встал, нагнулся под низкой притолокой. У двери обернулся.

– А ты, – сказал он. – Тебя они тоже найдут. Ты теперь знаешь, что я к тебе заходил.

– Меня, боярич, уж двадцать лет как схоронили заживо в этой дыре, – сказала Аглая и села назад к печи, сгорбившись. – Кому я нужна, кривая да старая. Иди уж. И дверь, дверь затвори, студу напустишь.

Он затворил дверь и вышел в мёрзлую ночь Нижнего города, под тусклые мигающие фонари умирающего света, и постоял, вдыхая стужу. До родовой земли, до дома, до Прохора с Таисьей и до живого камня в подполе оставалось ещё два дня пути на север, в самую глушь, к самому краю, за которым чёрной незамерзающей полыньей лежала старица и что-то ждало под её льдом света осколка.

Он поправил котомку – и что-то тонкое, холодное кольнуло его под ложечкой, то давнее чутьё на неладное, чторосло за две войны прежней жизни и не стёрлось в этой. Он оглянулся. В переулке, шагах в двадцати, у чужого забора лежала мёртвая собака. Глеб подошёл, присел над ней на корточки, тронул двумя пальцами по привычке, как трогал бы больного. Окоченела, свернувшись. Ни раны, ни крови, ни следа зубов – ничего, отчего псу помирать. Будто задули, как свечу. Он видел таких не воочию – в письмах: Таисья писала ему с севера про собак, что находят поутру без единой раны, будто свечки задули, а он читал это за снегами, в столице, вполуха, за другими бедами. А вот она, такая собака, у чужого забора, за два дня пути до дома. Север начинался раньше севера. Зов осколка тянул к себе мёртвое уже здесь.

– Иду, – сказал Глеб мёртвой собаке, ночи, самому себе и двоим под рёбрами. И пошёл на север, Гора с ранней сединой, несущий в крови отмычку от последнего тепла мира и держащийся на плаву словом, данным мёртвому солдату, – и тёплой ладонью, что легла ему нынче на голову и не побоялась.

Глава 3 Маяк

Родной дом открылся ему на исходе второго дня пути от северного города, в тот глухой предвечерний час, когда зимнее небо уже не белое, но ещё не чёрное, а того мёртвого серого цвета, что бывает у остывшей золы.

Глеб встал на опушке, у поворота знакомой с детства дороги, и поглядел вниз, на займище, за которым темнел на взгорке дом Калитиных – старый, приземистый, вросший в землю боярский двор, что стерёг это место дольше, чем помнили люди. И в первый раз за все девятнадцать дней пути что-то в нём отозвалось не тяжестью, а чем-то ещё, забытым. Дом стоял. Прохор топил – над крышей вился дым, живой, тёплый, единственное тёплое на всю мёртвую округу. Там были его. Немного, но были.

А потом он вгляделся пристальнее, и тёплое сменилось иным.

Снег на займище лёг не так, как привык видеть Глеб. Наст был истоптан. Ходило что-то, что ходило вокруг двора широкими нездешними петлями, не подходя близко, но и не отступая. За займищем чернела старица. Она искони не мёрзла вся – чёрным незамерзающим оком лежала посреди зимы, и око это по краю всегда обрамлял лёд. Теперь ледяная кромка была съедена, изгнила, будто оттаяла снизу, от какого-то нижнего жара, и чёрная вода расплзлась вширь, вдвое против прежнего. А над самым домом, над подполом, из щелей венцов и из-под конька, сочился наружу свет – слабый, дрожащий, зеленовато-белый, какого не даёт ни огонь, ни Печать-фонарь. Он не бил столбом, он именно сочился, как просачивается сквозь пальцы вода, и в стылых сумерках его видно было издалека.

Осколок. Он горел так, что его видно было с опушки. Маяк на весь мёртвый край, о котором писала Таисья, – Глеб думал, она сгущает по бабьему страху. Она не сгущала.

Он спустился к дому в наступающей темноте, и чем ближе подходил, тем яснее чувствовал: осколок не просто горит. Он тянется. К нему, к Глебу. С каждым шагом свет в щелях подпола наливался, разгорался ровнее, будто там, под полом, что-то поворачивало слепую голову ему навстречу и радовалось. Оба голоса под рёбрами заворочались беспокойно – не от страха, как при гладком, а как ворочается собака, учуяв хозяйский двор. У самой калитки Глеб остановился и постоял, унимая непонятное, тянущее чувство: свет из подпола знал его. Знал его кровь. Тянулся к ней, как тянется к матери отнятый младенец.

«Ключ идёт к замку, – сказал в нём холодный тихо, деловито. – И замок это чувствует».

Глеб толкнул калитку. Собаки не залаяли – собак не было; он вспомнил письмо и то, что видел в городском переулке, и не стал звать. Он взошёл на крыльцо, под самый исток зеленоватого света, и постучал в тяжёлую, окованную дверь родового дома-сторожа так, как стучал мальчишкой, – и услышал за ней шаги, торопливые, стариковские, и голос Прохора, дрожащий, злой от страха:

– Кого несёт на ночь глядя? Ступай прочь, тут тебе не двор, тут порог заклятый, не пушу!

– Прохор, – сказал Глеб. – Это я.

Тишина за дверью. Потом – возня, лязг засова, ещё лязг, торопливые непослушные руки, – и дверь распахнулась, и на пороге, с лучиной в трясущейся руке, стоял Прохор, постаревший за год на десять лет, седой, сгорбленный, и глядел на Глеба снизу вверх, и лицо его собиралось и разваливалось, не веря.

– Барин, – выговорил он наконец шёпотом. – Глеб Андреевич. Живой. – И заплакал, беззвучно, как плачут старики, всеми морщинами разом, и потянулся дрожащими руками, и не смел коснуться, будто боялся, что видение развеется. – Воротился. А мы уж... а тут такое... а Демьян-то, барин, Демьян где? Один ты?

– Один, – сказал Глеб. И этого одного слова хватило. Прохор понял всё, и лицо его сломалось совсем, и он затрясся, хватаясь за косяк, и Глеб шагнул через порог – через тот самый

заклятый порог, о котором старик кричал в темноту, – и придержал его за плечи, чтоб не упал. Под ладонями он привычно, помимо воли, прочёл старика: сердце частит и сбоит, ноги отекли, не спал давно и ел плохо, держался тут на одном страхе да упрямстве. Держался.

– Стой, – сказал Глеб тихо. – Стой, старик. Я тут. Демьяна нет, а я тут. Веди в дом. Холодно.

В доме было натоплено жарко, до духоты, – и Глеб сразу понял отчего, ещё прежде, чем ему сказали. Топили не от стужи. Топили от того, что снаружи. Огонь и свет по всем углам, ни одной тёмной комнаты, лучины и свечи жгли не жалея, будто тьму держали на расстоянии огнём, как держат зверя.

Таисья вышла из глубины дома на голоса – и застыла в дверях горницы.

За год она переменялась не так, как Прохор. Прохора год согнул, а Таисью – заострил. Рыжая, худая, в мужской овчине поверх платья, с ножом на поясе не для виду, она стояла, вцепившись рукой в косяк, и глядела на Глеба так, будто не знала, кинуться к нему или всадить нож; желваки ходили у неё на скулах, и видно было, что злится она на себя – за то, что рада.

– Явился, – сказала она. Голос был хриплый, не девичий, севший. – Год. Год, Глеб. Я тут одна с двумя стариками да с этой... с этой светящейся дрянью в подполе, к которой по ночам ходит мёртвое, а ты – год.

– Здравствуй, Таисья, – сказал Глеб.

– Не здравствуй мне! – Она оторвалась от косяка, шагнула, и Глеб думал – ударит, и не стал бы уклоняться. Но она не ударила. Она остановилась в шаге, и он увидел вблизи, что глаза у неё запавшие, в красных прожилках, что руки у неё в мелких порезах и ожогах, что она держится на том же, на чём держался Прохор, только у неё этого «того же» осталось на самом доньшке. – Живой, – сказала она тихо, зло, с облегчением, от которого у неё дрогнул голос. – Дурак. Живой. А Демьян?

– Нет Демьяна.

Она закрыла глаза. Пальцы на рукояти ножа сжались так, что побелели костяшки. И на один короткий удар сердца взгляд её метнулся Глебу за правое плечо – туда, где, сколько она его знала, всегда стоял Демьян: тенью, палашом, спиной; туда, где теперь было пусто. Потом она медленно выдохнула, разжала руку и кивнула – коротко, по-своему, приняв, как принимала всё, без причитаний.

– Знала, – сказала она. – Как свет в подполе в ту ночь запылал не по-людски, так и знала: кровью где-то плачено. – Она поглядела на него в упор, и глаза её сузились. – А ты сам-то – ты ли? Гляжу на тебя, Глеб, и не пойму. Стоишь – а холодом от тебя, как от той полыни. Что они с тобой сделали там, в столице?

– Ничего, чего не сделал бы я сам, – сказал Глеб. – Я после расскажу. Сперва скажи мне ты. Всё скажи. Что тут у вас творится, с самого начала.

И Таисья сказала.

Она говорила коротко и по делу, как говорит человек, что месяцами один держал оборону и всё разложил у себя в голове по полкам, потому что иначе было не выжить. Как после его отъезда, к зиме, свет в подполе стал сильнее. Как первыми почуяли собаки – были ночами на займище, а после их стали находить поутру мёртвыми, окоченелыми, без единой раны, «будто свечку задули», покуда не перевелись все. Как за собаками пришло другое. Как она в первый раз увидела на займище, в лунную ночь, человека, что стоял по пояс в снегу и глядел на дом, и не мёрз, и не дышал паром, и снег под ним не проминался; и как наутро на том месте не было следов, ни единого, будто, сказала она, «шло не тело, а память о теле».

– Выходцы, – сказала она. – Так их Марфа кличет. Топленики. Кого рубеж не удержал. Марфа рассказывает, в старые худые годы, когда земля силу теряла, они и лезли из-за старицы, а после сила воротилась – и перестали. А теперь земля скудеет опять, по всему краю, ты, поди, видел дорогой. Вот они и полезли. И идут они, Глеб, на свет. На нашу дрянь в подполе, как мотыль на лучину. Чем ярче она горит – тем их больше. А горит она всё ярче.

– Как вы держитесь, – спросил Глеб. Не «держитесь ли» – он видел, что держатся. Спросил – как.

– Порогом, – сказала Таисья. И в первый раз в голосе её мелькнула мрачная гордость. – Марфа, спасибо ей, вспомнила стариновское: дом-то ваш, калитинский, испокон над этой ямой стоит сторожем. Он горел не раз, а оборона держится, и вот почему: заклятие, Марфа рассказывает, лежит не на дереве порога, а на камне под ним, на самой черте, что предки провели по краю ямы. Сруб меняй хоть каждый век, дерево жги – а черта лежит, где легла. Мёртвое через неё не идёт. Пробует – и не идёт. Я проверяла. – Она сказала это буднично, и Глеб понял, что стоит за этим «я проверяла»: как она стояла в дверях с ножом, одна, и глядела, как оно пробует переступить, и не отступала. – Ещё рассвет. На рассвете мёртвое отходит за старицу, до ночи. Днём живём, ночью – жжём огонь и не спим по очереди. Соль вот не берёт их, крест не берёт. Порог да рассвет. На том и держимся третий месяц.

Три месяца в одиночку, с двумя стариками, над этой светящейся ямой – против того, чему в его ремесле и названия нет. Что-то в Глебе отпустило, оттаяло на волос. И тут же, на это тепло, потянулся из-под рёбер холодный – полюбопытствовать. Глеб придавил его. Не тут.

– Ты всё сделала верно, – сказал он Таисье. – Всё. Слышишь? Лучше меня бы никто не сделал.

Она отвернулась резко, будто похвала обожгла её больше ругани, и буркнула куда-то в сторону:

– Верно, неверно. Ты пришёл – вот и верно. – И, помолчав, тише: – Только, Глеб... с тех пор, как ты подошёл к дому, оно там, в подполе, разгорелось так, как ещё не разгоралось. Я почуяла, ещё как ты на займище был. Свет в полы бьёт. – Она поглядела на него со странной опаской. – Оно тебя ждало. Оно тебе радо. И это, Глеб, хуже всего, что тут было.

Марфа собрала на стол.

Круглая, тихая, она накрыла, не спрашивая, – поставила перед Глебом чугунок горячих щей, хлеб, солёные грузди, будто он не с того света воротился, а с поля пришёл к обеду; и в этой её будничной заботе было больше утешения, чем в любых словах. Глеб ел, не чуя вкуса, а тепло от миски всё же расходилось по нему, чужое, забытое. Они сидели при лучине и глядели, как он ест: Прохор напротив, Таисья боком к столу, Марфа у печи. Никто не лез с расспросами. За это молчание он был им благодарен больше, чем за щи.

Про Демьяна он рассказал коротко, без прикрас, как рассказывают о смерти те, кто видел её слишком много. Как тот дошёл до столицы горячечный, с гнилой раной, вопреки приказу. Как встал между Глебом и чужим оружием, потому что так рассудил его солдатский разум – что место его у барина за спиной, и другого места нет. Как умер на снегу, взяв с Глеба слово жить человеком. Он говорил сухо, глядя в миску, и иначе не мог: дай он себе хоть каплю – не остановился бы.

Прохор плакал молча, роняя слёзы в бороду. Он служил Калитиным сорок лет, он знал Демьяна ещё мальчишкой-новобранцем при старом барине и теперь оплакивал последнего из той, прежней дружины, с которой начинал.

– Хороший был человек, – сказал он тихо. – Верный. Таких не осталось.

– Остались, – сказал Глеб и поглядел на них троих. – Вот. Ещё остались.

Таисья сидела, поджав губы, и глядела на его руки. Глеб перехватил её взгляд и увидел то, что она прятала: её собственные руки – в порезах, в мелких ожогах, ссаженные, обмороженные, руки, что три месяца рубили дрова, держали нож, таскали воду и топили печь за троих. Он молча взял её ладонь – она дёрнулась, но не отняла, – повернул к свету, оглядел ремесленным глазом. Порезы загноились, один, на большом пальце, вспух и набряк.

– Мазь у Марфы есть? – спросил он, не поднимая глаз.

– Барин, да пустое это, – начала Таисья, и голос у неё сел.

– Есть, – сказал он. – Молчи.

И при всех, при огне, он вычистил и перевязал ей руку – тщательно, привычно, как перевязал бы боярину или нищему, всё едино, – потому что это было единственное тепло, какое он умел давать не размякая, единственная нежность, что не будила в нём холодного: забота руками, ремеслом, делом. Таисья сидела не дыша, глядела на его склонённую голову с ранней сединой и молчала; а когда он затянул узел, отняла руку быстро и отвернулась, и Глеб не стал смотреть, что у неё на лице.

Вот про что толковала Кривая. Не сила это. Трое за столом, миска щей, перевязанная чужая рука – за такое и держатся, чтоб не съели изнутри. Глеб сидел среди своих, в тепле, впервые за много дней почти живой – и этим же теплом светил мёртвому полю, как свеча мотылю.

Он спустился в подпол один в ту же ночь, не дожидаясь утра, велел Таисье с Прохором оставаться наверху у огня.

Подпол дома Калитиных был древнее самого дома. Дом не раз горел и отстраивался, а подпол – каменный, сложенный из дикого камня без раствора, руками, каких давно нет, – стоял, как стоял всегда, глубоко ушедший в мёрзлую землю. Глеб спустился по стёртым ступеням, и с каждой ступенью зеленоватый свет наливался, и с каждой ступенью оба голоса в нём подавались вперёд, и с каждой ступенью он всё яснее чувствовал, что идёт не к вещи. Идёт к чему-то, что живо по-своему и что его знает.

Осколок лежал в дальней нише, на голом камне, там, где положили его когда-то, – неровный кусок не то камня, не то льда, не то мёрзлого света, с ладонь величиной, и внутри него медленно, как дыхание спящего, ходило туда-сюда зеленоватое сияние. Это и был осколок живого Источника, того самого, что спал глубже, под всем этим камнем, под всей этой землёй, – верхушка, кончик, единственное, что выступало наружу из спящего исполина. И когда Глеб вошёл в нишу, осколок вспыхнул.

Не ярко – глубоко. Свет в нём качнулся весь разом, потянулся к Глебу, к его груди, к его крови, и по камню подпола заходили тёплые зелёные тени, и Глеб ощутил – не услышал, ощутил всем нутром – как спящее там, в глубине, узнало его и потянулось навстречу, огромное, слепое, родное. Наследник. Своя кровь. Он стоял, и осколок тянулся к нему, и это было как если бы огромный зверь, что спал под землёй тысячу лет, во сне придвинул к нему слепую морду и вздохнул. Кровь Глеба отозвалась сама, помимо воли, толкнулась навстречу, узнавая.

«Возьми, – сказал в нём холодный, и голос его был не деловит уже, а жаден, как никогда. – Оно твоё. Оно тебя зовёт. Протяни руку, тронь – и оно откроется. Столько силы, что ни Гора, ни Твердь – сам станешь как эти, гладкие. Возьми, никто не держит».

И огневик, обычно трусливый, тянулся в лад ему к теплу камня жадно, как пламя к сухо-стою: «Тепло. Дай гореть. Накорми».

Глеб стоял над осколком, и рука его сама поднималась. Сердце в груди сбилось с прежнего хода и застучало в такт свету – удар в удар с медленной пульсацией камня, будто осколок взял его сердце в горсть и повёл за собой. По тыльной стороне поднятой руки вздулись и

потемнели жилы, налились под кожей чёрным, и кровь в них тянулась вон из тела, к кончикам пальцев, туда, к родному, слепому, зовущему. Ещё вершок – и ладонь легла бы на камень, и кровь ушла бы в него, и замок повернулся бы сам. Глеб глядел на свою руку как со стороны и понимал последней ясной своей частью, что тянет её не он. Что это – ровно то, о чём говорил безликий у заставы. Отопри его нам сам, своей рукой, своей кровью. Он – ключ. Осколок – замок. И оба голоса, и самая его кровь толкали руку к замку, чтоб повернуть.

Он стал опускать руку. Она не шла. Кровь в почерневших жилах рвалась к камню, тянула пальцы обратно, и опустить эту руку было как отдирать её от того, во что она вросла. Хрустнуло в запястье. Пот пополз по лбу, холодный. В глазах качалось зелёным. Он гнул руку вниз, вершок за вершком, тем, что ещё осталось от воли, – прижал к бедру, сжал в кулак, выдохнул сквозь зубы.

– Нет, – сказал он вслух, в холодный камень, спящему исполину, обоим голосам. – Не сегодня. И, может, никогда. Ты меня звал двенадцать лет, звало вон и то, безликое, у заставы. Оба звали к одному. Стало быть, к одному мне и нельзя.

Осколок качнул светом недоумённо, как недоумевает пёс, которого позвали и не приласкали. И медленно, нехотя, стал угасать назад, до прежнего ровного свечения. Но не совсем. Глеб видел: горел он теперь всё равно ярче, чем до его прихода. Он, Глеб, был как ветер для углей. Просто тем, что стоял рядом, он раздувал маяк. И покуда он в этом доме – маяк будет гореть на весь мёртвый край сильнее прежнего, и звать, звать, звать через снега всё мёртвое, что ещё ходит.

Он понял это – и наверху, глухо, сквозь толщу пола и камня, закричала Таисья.

Он взлетел по ступеням, выхватывая на ходу силу, как выхватывают клинок. В горнице Таисья стояла у окна, отдёргнув ставень, с ножом в руке, белая; Прохор жался к печи; из тёмного угла крестилась и шептала Марфа, малая, круглая старуха с добрым испуганным лицом.

– Пришли, – сказала Таисья, не оборачиваясь. – Как ты в подпол сошёл да оно разгорелось – так и повалили. Гляди. Столько разом ещё не было.

Глеб подошёл к окну. За стеклом, на истоптанном займище, в свете стылой луны, стояли выходцы.

Их было много – он насчитал восемь и бросил считать. Они стояли в снегу, недвижно, полукругом, обратясь к дому, и не подходили ближе заклётого порога, но и не уходили. Люди – и не люди. Мёрзлые, серые, в остатках истлевшей одежды иного, давнего покроя; кого рубеж не удержал за десятки, за сотни лет. Они не дрожали от стужи, не переминались, не дышали – ни у одного не вился пар изо рта в лютом морозе, и Глеб, увидев это, узнал холодок, что уже знал: так же не дышал гладкий у заставы. Мёртвое и пустое. Родня по пустоте.

И они смотрели на дом. Все разом. На тот свет, что сочился из подпола. На маяк.

Глеб глядел на ближнего, и делал то, что умел, – читал. И ремесло дало осечку во второй раз за месяц. Читать было нечего. Перед ним стоял человек – мёрзлое тело, руки, лицо, провалившиеся глаза, – а тела не было. Не билась жила. Не шло тепло. Не было той тихой работы живого нутра, что Глеб слышал в каждом человеке, как слышат ток воды за стеной. И не было даже той честной остановки, что есть в свежем мертвеце. Тут не был мёртв никто – тут никого не было. Оболочка, что ходит. Память о теле, надевшая тело. Лекарь в Глебе, всю жизнь и всю не-жизнь читавший людей, скользнул по выходцу и не нашёл, за что взяться, – как не нашёл на заставе, как не находил у гладкого.

И оба голоса под рёбрами повели себя врозь, как ещё не бывало. Огневик, что жаждал крови на тракте, теперь забился в диком животном ужасе, заскулил, заметался, погнал Глеба прочь: «Уйди! Уходи отсюда! Спали всё – камень, избу, – только уйди, они холодные, они

пустые, они меня затушат, затушат, затушат!» Огонь впервые боялся – боялся чёрной воды и мёртвой пустоты, что глотает всякое пламя.

А холодный – холодный на этот раз не отпрянул. Холодный подобрался, приблизился изнутри к стеклу, вгляделся в мёрзлые фигуры с тёмным, нехорошим узнаванием. «Свои, – шепнул он, и Глеба продрало от этого шёпота хуже, чем от самих выходцев. – Тоже кто-то съел, тоже надел чужое и ходит. Мы с ними одной породы, лекарь. Выпусти меня к ним. Я с ними столкуюсь».

– Молчи, – сказал Глеб вслух, и Таисья вздрогнула, решив, что ей. Он не поправил.

Один из выходцев шевельнулся. Отделился от полукруга, двинулся к дому – не спеша, скользяще, не проминая снега, – и подошёл к самому порогу, к крыльцу, под самый исток зелёного света, и поднял лицо. Провалы глаз глядели прямо на Глеба сквозь стекло, и в них не было злобы, не было голода, не было ничего – одна тяга, слепая, ровная, на свет. Он поднял серую руку и тронул воздух над порогом – и наткнулся на него, на заклятие, как натываются на стекло. Древний порог держал. Выходец постоял, толкнулся ещё раз, мягко, без ярости, и опустил руку. Он не мог войти. Но он и не уходил.

– Видал? – тихо сказала Таисья. – Так и стоят до рассвета. Пробуют и стоят. А поутру уйдут за старицу. Раньше по одному ходили. Нынче – эвон сколько. Это на тебя, Глеб. На то, что оно в подполе на тебя разгорелось.

Глеб глядел на выходца за стеклом, на его слепую тягу к свету, и в голове у него холодно и ясно складывалось то, чего он не хотел складывать. Гладкий сказал правду дважды. Он – ключ, и его приход раздувает маяк. А маяк зовёт мёртвое. Стало быть, самым своим возвращением домой, к последним своим, он привёл к их порогу вот это – и приведёт больше. Он пришёл защитить – и стал приманкой. Ровно как боялся на тракте. Ровно как сказал ему в поле безликий: куда бы ты ни повернул, ты поворачиваешь к нам.

– Марфа, – сказал он, не оборачиваясь. – Ты про них знаешь больше всех. Скажи: старица. Что в старице? Таисья писала – под льдом что-то просыпается на свет.

Старуха в углу перестала шептать. Помолчала. И сказала – тихо, но твёрдо, и от её простого испуганного голоса стало страшнее, чем от всех выходцев за окном:

– Выходцы, барин, – это которые сами лезут. Мелочь. А про старицу... – Она сглотнула. – Бабки нам, малым, сказывали: полынья на рубеже оттого чёрная и не мёрзнет, что под ней Дверь. И будто, когда земля вся выдохнется и силы в ней не станет, в ту Дверь изнутри постучат. Мы, детвора, тем и пугались, к полынье не бегали. Страшилка и страшилка, чтоб под лёд не совались. – Она перекрестилась, и рука её тряслась. – А нынче, барин, не страшилка. Нынче земля выдыхается, ты дорогой, поди, видел. И в старице проснулось то, что Дверь отворяет изнутри. И оно куда больше выходца. А осколок ваш, – она понизила голос, – он на чужую кровь не глядел; ни на мою, ни на Прохорову, ни на Таисью. Он твою ждал, калитинскую. Дождался. И теперь то, из старицы, идёт не на дом, барин. На тебя идёт. Потому как ты ему вместо фонаря светишь.

За окном, далеко, за полукругом мёртвых, за истоптанным займищем, чёрная полынья старицы вдруг колыхнулась под луной – хотя не было ветра, – и по её незамерзающей глади прошёл, расходясь кругами, медленный тяжёлый горб, будто там, в глубине, под чёрной водой, кто-то огромный, неподъёмный повернулся во сне на другой бок и начал просыпаться.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.